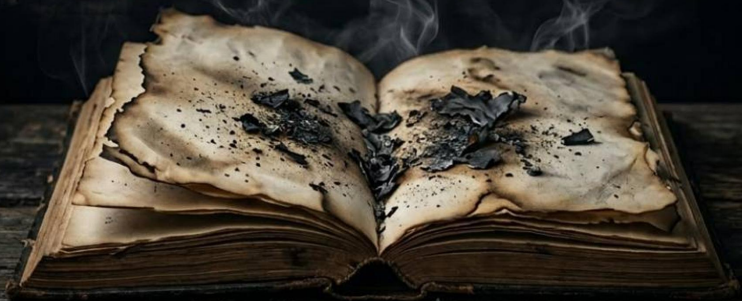


Шпетная Наталья
**Пепел между
страницами**

Повесть об Эрихе Марии Ремарке



Наталья Шпетная
Пепел между страницами.
Повесть об Эрихе
Марии Ремарке

*<https://litres.ru/74100093>
SelfPub; 2026*

Аннотация

Война не уходит с последним выстрелом. Она остаётся в памяти, в случайных запахах, в ночной тишине, в лицах тех, кого уже нельзя вернуть. Для Эриха Марии Ремарка пережитое становится раной, от которой невозможно отмахнуться, и страницами, где боль обретает голос.

Повесть Шпетной Натальи «Пепел между страницами. Повесть об Эрихе Марии Ремарке» погружает читателя в мир, где личная судьба сталкивается с жестокостью эпохи. Здесь пепел прошлого ложится на рукописи, любовь соседствует с потерей, а слово становится последним убежищем для правды.

Это история о человеке, который видел, как легко рушится мир, и всё же пытался сохранить в литературе человеческое лицо времени.

Откройте эту повесть — и прислушайтесь к тому, что звучит между строк.

Содержание

Пепел между страницами	4
Часть первая	4
1	4
2	21
3	29
4	36
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Наталья Шпетная
Пепел между страницами.
Повесть об Эрихе
Марии Ремарке

Пепел между страницами
Повесть об Эрихе Марии Ремарке

Часть первая
Конверт из Оснабрюка

1

На озере Лаго-Маджоре вода умела притворяться вечно-стью.

Утром она лежала у подножия гор, как отполированная сталь, и только ближе к полудню начинала лениво морщиться от ветра. В ясные дни на ней отражались кипарисы, белые стены вилл, лодки с облупленной краской и небо такого си-

него цвета, что даже самые недоверчивые эмигранты невольно поднимали глаза и на несколько секунд забывали о паспортах, визах, утраченном гражданстве, закрытых границах и списках людей, которых больше нельзя было спасти.

Эрих Мария Ремарк не любил, когда озеро называли красивым.

– Красота, – говорил он, – это слово для тех, кто торопится. Вино бывает хорошим, плохим и поддельным. Женщины – опасными, несчастными и незабываемыми. А озеро... озеро просто умеет молчать лучше нас.

В тот мартовский день 1968 года озеро молчало безукоризненно.

Ремарк сидел на террасе своей виллы в Порто-Ронко, в старом кресле, которое давно требовало перетяжки, но всё ещё держалось с достоинством отставного офицера. На столике стояли чашка кофе, серебряная зажигалка, пепельница, несколько листов бумаги и раскрытая книга, которую он, кажется, не читал. Книги с годами становились для него не столько предметами чтения, сколько соседями. Одни шумели, другие старели тихо, третьи смотрели с полок так, словно знали о нём слишком много.

Ему было почти семьдесят.

Возраст этот, если верить врачам, требовал осторожности, если верить друзьям – отдыха, если верить врагам – забвения. Ремарк не верил ни тем, ни другим, ни третьим. Он верил разве что боли в груди, которая иногда являлась без при-

глашения, как старый кредитор, и памяти, не пропускавшей ни одного срока.

Со стороны дома слышались шаги. Осторожные, вымеренные, немецкие. Так ступают люди, которые заранее извиняются перед полом за своё присутствие.

Слуга проводил на террасу молодого человека в сером костюме. Костюм был слишком плотен для Тичино, ботинки слишком начищены для путешествия, а лицо слишком серьёзно для двадцати восьми лет.

– Господин Ремарк, – сказал слуга, – господин Рике из Кёльна.

Молодой человек поклонился.

– Карл-Хайнц Рике. Радио Западной Германии. Мы переписывались.

– Мы? – Ремарк посмотрел на него поверх очков. – Письма приходили. Я не уверен, что это уже переписка. Присаживайтесь, господин Рике. Если вы журналист, лучше сядьте: стоя люди чаще говорят правду, а это портит интервью.

Рике растерянно улыбнулся. Он был из поколения, которое не успело повоевать, но успело унаследовать поражение. Такие молодые немцы носили на лицах странную смесь прилежания и стыда, как будто всю жизнь сдавали экзамен у мёртвых.

Он сел на край стула и положил на колени кожаную папку.

– Я приехал не только из-за интервью.

– Это уже звучит почти честно.

– Мне передали кое-что в Оснабрюке.

Ремарк медленно снял очки.

Название родного города всегда производило в нём едва заметное движение – не вздрагивание, нет; скорее внутреннюю задержку дыхания. Оснабрюк был не просто пунктом на карте. Он был комнатой, в которую нельзя войти, не встретив там мальчика с чужой фамилией, больную мать, запах переплётного клея, школьные тетради и дорогу на вокзал, откуда уходили поезда с мальчишками в серо-зелёных шинелях.

– В Оснабрюке люди любят передавать вещи, – сказал Ремарк. – Обычно слишком поздно.

Рике открыл папку. Внутри лежал тёмно-жёлтый конверт, перевязанный тонкой бечёвкой. Бумага была старой, с ломкими углами. На ней не было адреса. Только аккуратная надпись чернилами:

Für Erich. Wenn er noch lebt.

Для Эриха. Если он ещё жив.

Ремарк не протянул руки.

Он смотрел на конверт так, как смотрят не на предмет, а на дверь, за которой кто-то давно должен был умереть, но почему-то продолжает ждать.

– Кто вам это дал?

– Старуха по фамилии Вемайер. Её отец был судебным служащим. После войны они разбирали бумаги. Часть документов сгорела, часть оказалась у него дома. Она сказала, что не знает, важно ли это. Но имя...

– Имя у меня распространённое, – сухо сказал Ремарк. – Особенно среди людей, которые желали бы, чтобы я им не пользовался.

– Там есть ещё одно имя.

Рике развязал бечёвку, но конверт не раскрыл. Он посмотрел на Ремарка, ожидая разрешения.

– Эльфрида.

Звук имени упал между ними без шума.

Где-то внизу, у воды, моторная лодка коротко кашлянула и затихла.

Ремарк наконец взял конверт. Пальцы у него были длинные, сухие, с лёгкой желтизной табака. Он умел держать бокал, сигарету, перо и женскую руку так, будто все это требовало одинакового такта. Старую бумагу он держал иначе – осторожно, почти неприязненно.

– Вы читали?

– Нет.

– Это делает вам честь. Или вы слишком хорошо воспитаны для журналиста.

– Мой отец говорил: не все двери открывают для того, чтобы войти.

– Ваш отец был философ?

– Железнодорожник.

– Значит, философ по расписанию. Редкая порода.

Рике снова улыбнулся, но улыбка вышла неловкой. Он впервые увидел, как быстро у Ремарка меняется лицо. Толь-

ко что перед ним сидел элегантный стареющий писатель, человек дорогих костюмов, тонких реплик и международной славы; теперь на террасе оказался кто-то другой – не знаменитость, не изгнанник, не автор романа, который читали миллионы, а брат женщины, казнённой в Берлине за слова, сказанные в дурное время при дурных ушах.

– Когда вам это передали? – спросил Ремарк.

– Три недели назад. Я написал вам сразу.

– Вы написали, что хотите говорить о немецкой литературе после войны.

– Я испугался.

– Разумное чувство. Германия начиналась с него каждое утро, но редко признавалась.

Он поднялся.

Движение далось ему не сразу. Болезнь сердца уже вписала в его жесты невидимые поправки, но он всё ещё сохранял ту особую прямоту, которая бывает у людей, однажды выживших не благодаря телу, а вопреки ему.

– Пойдёмте в кабинет, господин Рике. Письма мёртвых не следует читать при озере. Вода слишком быстро всё прощает.

Они вошли в дом.

Кабинет Ремарка пах бумагой, кожей, табаком и лёгкой горечью крепких напитков, которые не обязательно стояли на виду, чтобы присутствовать в комнате. На стенах висели картины; на полках стояли книги на немецком, английском,

французском. Письменный стол был большим, но не торжественным: рабочая поверхность человека, который знает, что хаос иногда честнее порядка.

Ремарк сел у окна. Рике остался стоять.

– Садитесь. Вы уже часть этой неприятности.

Писатель разрезал конверт ножом для бумаги. Внутри оказалось несколько листов, сложенных вчетверо, и маленькая фотография. Он не стал смотреть фотографию сразу. Развернул первый лист.

Почерк был женский, плотный, неровный. В некоторых местах чернила расплылись. Возможно, от сырости. Возможно, от пальцев. Возможно, от того, о чём в приличных архивах не делают пометок.

Ремарк прочёл первую строку.

Потом вторую.

Потом отложил лист и закрыл глаза.

Рике слышал, как за окном ударились о стекло муха. Весна ещё не вошла в силу, но отдельные насекомые уже проявляли оптимизм, свойственный существам с короткой памятью.

– Господин Ремарк...

– Молчите.

Он сказал это не грубо. Скорее устало.

Прошла минута. Или несколько лет. В кабинете время перестало быть швейцарским: точным, воспитанным, пригодным для поездов. Оно стало немецким временем сороковых

годов – вязким, угрюмым, с запахом гари и форменной шерсти.

Ремарк снова взял письмо.

– Она пишет, что не верит в храбрость, – сказал он тихо.
– «Храбрыми нас называют те, кому повезло остаться снаружи». Узнаю Эльфриду. В нашей семье даже перед смертью не умели красиво лгать.

Он дочитал страницу до конца.

– Она знала? – спросил Рике.

– Что её убьют? В Народной судебной палате это обычно объясняли заранее. Немецкая пунктуальность дошла там до совершенства: человеку сообщали, когда он перестанет быть человеком.

Он взял фотографию.

На ней было четверо детей. Мальчик в тёмной куртке, слишком серьёзный для своего возраста; рядом девочка с упрямым подбородком; ещё двое младших. Фотография была сделана в Оснабрюке, вероятно, до войны – той первой войны, которая в семейных альбомах ещё не нуждалась в порядковом номере.

Ремарк долго смотрел на мальчика.

– Я терпеть не мог эту куртку, – сказал он. – Она кололась. Мать считала, что приличный мальчик должен страдать хотя бы от одежды.

Рике не ответил.

– Вы хотели интервью, господин Рике? Поздравляю. Вы

привезли лучший вопрос из всех возможных: что делать с письмом, которое пришло на двадцать пять лет позже?

— Я не знал, что там.

— Теперь знаете меньше, чем до того. Это обычное свойство писем.

Ремарк сложил листы, но не убрал их в конверт. Он провёл пальцем по краю фотографии.

— Вы останетесь на ужин?

— Я не хотел бы навязываться.

— Молодой человек, вы приехали из Кёльна с письмом моей казнённой сестры. Навязчивость мы уже миновали. Теперь остаётся только ужин.

Он позвонил.

Когда вошла служанка, Ремарк попросил подать ещё один прибор и бутылку красного вина. Потом добавил:

— И не то, которое я даю издателям. Нормальное.

Служанка кивнула с выражением лица человека, давно знающего, что у каждого хозяина есть своя система классификации вин и людей.

Рике впервые за всё время позволил себе рассмотреть комнату внимательнее. На столе лежали письма из Америки, французская газета, черновики с правкой. В пепельнице догорала сигарета. На одном из листков он увидел фразу по-немецки:

Man kehrt nicht zurück. Man besucht nur seine Gespenster.

Не возвращаются. Только навещают своих призраков.

Ремарк заметил его взгляд.

– Запишите, если хотите. Потом кто-нибудь скажет, что я украл это у самого себя.

– Вы часто думаете о возвращении?

– Вопрос молодого немца. Вы полагаете, возвращение – это география.

– А что же?

– Иногда грамматика. Иногда болезнь. Иногда старый счёт в ресторане, который уже снесли.

Он снова взял письмо Эльфриды и, не читая вслух, посмотрел на последнюю страницу.

– Она пишет об Оснабрюке. О нашей улице. О матери. И о том, что они говорили ей на суде.

Рике знал, о каких словах идёт речь. В Германии после войны эта история ходила вполголоса: судья Роланд Фрейслер, председатель Народной судебной палаты, будто бы сказал Эльфриде Шольц: «Ваш брат, к сожалению, от нас ускользнул. Вы от нас не уйдёте». Историки спорили о точной формулировке; память выживших не всегда сохраняет стенограмму, зато отлично помнит температуру комнаты.

Ремарк не произнёс эту фразу.

Он только сказал:

– Немцы всегда любили семейственность. Даже в мести. За ужином говорили сначала о пустяках.

Это было не малодушие, а старый эмигрантский ритуал:

прежде чем подойти к мёртвым, надо убедиться, что живые умеют держать вилку, не роняют соль и способны обсуждать рыбу без ссылки на мировую катастрофу.

Рике рассказал о Кёльне, о радиоредакции, где пожилые сотрудники курили так, словно пытались заново задымить Рейхстаг, о молодых драматургах, ненавидевших отцов, но охотно пользовавшихся их связями. Ремарк слушал с удовольствием.

– Прекрасно, – сказал он. – Германия наконец стала нормальной страной: дети презирают родителей не за преступления, а за плохой вкус.

– Вы бывали в ФРГ после войны?

– Бывал. Но Германия любит спрашивать у эмигрантов, почему они уехали. Это всё равно что пепел спрашивал бы у бумаги, зачем она загорелась.

– Вас там читают.

– Меня и раньше читали. Потом жгли. Потом снова читали. У книг богатая общественная жизнь.

Он пил немного. Рике заметил это с удивлением: легенда требовала от Ремарка бокала, бутылки, ночного бара, женщины с уставшими глазами, чёрного автомобиля у тротуара и фразы, после которой все молчат. Живой человек ел рыбу, осторожно отодвигал соль и иногда прикладывал ладонь к груди, когда думал, что гость не смотрит.

После ужина они вернулись в кабинет.

Сумерки опустились быстро. В окне исчезло озеро, но

осталась его темнота.

– Включите лампу, – сказал Ремарк.

Рике включил настольную лампу с зелёным абажуром. Свет лёг на бумаги, на конверт, на фотографию детей.

– Вы спрашивали о моей литературе, – сказал Ремарк. – Начнём с того, что литература – плохое алиби. Она не спасает тех, кого должна была спасти. Она только не даёт убийцам владеть тишиной.

Он достал из ящика стола сигареты, предложил Рике. Тот отказался.

– Не курите?

– Нет.

– Похвально. Ваше поколение решило умирать от совести. Ремарк закурил.

– Я родился в Оснабрюке, господин Рике. Двадцать второго июня 1898 года. Тогда ещё казалось, что девятнадцатый век немного задержался и никто не станет его торопить. Отец был переплётчиком. Книги в нашем доме появлялись не как роскошь, а как работа: страницы, корешки, клей, ткань, кожа. Я рано понял, что у книги есть тело. Позже узнал, что у неё бывает судьба. Иногда её читают. Иногда бросают в костёр. Иногда она возвращается к тем, кто хотел от неё избавиться, и садится им на грудь ночью.

– Вы тогда писали?

– Все мальчики пишут стихи. Разница в том, что некоторые имеют несчастье продолжить.

Он усмехнулся, но взгляд его оставался на фотографии.

– Мать звали Анна Мария. Я потом взял её имя. Эрих Пауль Ремарк – так меня записали при рождении. Потом стал Эрих Мария. Мужчина с женским именем – хороший повод для идиотов упражняться в остроумии. Зато мать получила маленькую посмертную роскошь: её имя ездило по миру лучше, чем ей довелось.

– А написание фамилии?

– Remarque? Старая семейная форма. Французский привкус раздражал патриотов. Патриоты вообще легко раздражаются: дайте им букву – они увидят заговор.

Он говорил ровно, почти легко. Но Рике чувствовал, что за этой лёгкостью стоит не желание блеснуть, а привычка держать дверь в прошлое приоткрытой ровно настолько, чтобы оттуда не вырвалось всё сразу.

– В шестнадцатом меня призвали. В семнадцатом отправили на Западный фронт. Нам было девятнадцать. Возраст, когда человек ещё способен верить, что новые сапоги изменят судьбу.

– Вы попали в окопы под Фландрией?

– Да. Хотя слово «попал» слишком невинное. В окопы не попадают – туда проваливаются. Как в яму, вырытую всей Европой.

Он замолчал.

За стеной тикали часы. Хорошие швейцарские часы, не виноватые ни в чём, кроме точности.

– Тридцать первого июля 1917 года меня ранило осколками, – сказал Ремарк. – Нога, рука, шея. Достаточно, чтобы не вернуться на передовую, недостаточно, чтобы считать себя героем. Госпиталь в Дуйсбурге. Белые простыни, карболка, стоны по ночам, письма, которые читали тем, у кого уже не было рук. Война там продолжалась тише, но честнее. На фронте ещё лгали о наступлении. В госпитале уже знали цену каждому сантиметру человеческого тела.

– Там появились первые замыслы?

Ремарк посмотрел на него почти с жалостью.

– Вы хотите, чтобы литература рождалась красиво. Молодой человек лежит среди раненых, слышит стоны, берёт карандаш и решает сказать правду миру. Нет. Сначала он хочет, чтобы перестало болеть. Потом – чтобы выжили друзья. Потом – чтобы пришло письмо. Потом – чтобы не пришло письмо, если в нём дурные новости. Литература приходит позже, как судебный пристав. Она описывает имущество после пожара.

Рике опустил глаза.

– Простите.

– Не извиняйтесь. Ваша ошибка невинна. Опасны не невинные ошибки, а торжественные.

Ремарк погасил сигарету.

– После войны я был учителем. Очень недолго. Представьте себе: человек, вернувшийся с фронта, объясняет детям, как правильно держать перо. Это могло бы стать коме-

дией, если бы не было немецкой действительностью. Потом были разные работы. Торговля надгробиями, реклама, журналистика, автомобили. Веймарская республика была похожа на кабаре, построенное над минным складом: музыка бодрая, официанты расторопные, публика нервная.

– Вы работали в «Sport im Bild».

– Да. Редактором. Автомобили, спорт, элегантность, скорость. Германия после войны обожала скорость: ей казалось, что если ехать достаточно быстро, прошлое отстанет. Не отстало.

Он встал, подошёл к шкафу, достал тонкую папку. Вернулся к столу и раскрыл её. Внутри лежали газетные вырезки, пожелтевшие страницы, фотографии.

– «На Западном фронте без перемен» печатался сначала в «Vossische Zeitung» в конце 1928 года. Потом вышел книгой в январе 1929-го. Успех был неприлично быстрым. Настолько быстрым, что я первое время подозревал типографскую ошибку.

– Вы ожидали такого?

– Никто не ожидает миллионы читателей. Особенно если пишет о миллионах мёртвых.

Он показал Рике газетную вырезку. Заголовок кричал о сенсации. Другая вырезка – о нападках националистов. Третья – о фильме. Четвёртая – о скандалах в кинозалах.

– Когда американцы сняли фильм, в Германии началась истерика. Нацисты срывали показы, выпускали в залы белых

мышей, бросали вонючие бомбы. Представьте себе политическое движение, которое боится романа настолько, что мобилизует мышей. Впрочем, у них всегда был талант выбирать союзников.

Рике невольно рассмеялся.

Ремарк тоже улыбнулся, но без веселья.

– Смех полезен. Только не доверяйте ему слишком. В тридцатые годы многие смеялись над Гитлером. Смех оказался плохой фортификацией.

Он снова взял письмо Эльфриды.

– В 1933-м мои книги жгли. На площадях. С речами, факелами, хором молодых людей, которым внушили, что пепел умеет думать. Я уже жил в Швейцарии. В тридцать восьмом меня лишили немецкого гражданства. Аккуратная бумага, печать, подпись. Государство сообщило мне, что я больше не принадлежу ему. Как будто я ещё хотел.

– Но ваша сестра осталась.

– Да.

В этом «да» не было ни защиты, ни объяснения. Только камень.

Рике понял, что приблизился к центру письма, но не решился спросить.

Ремарк сам продолжил:

– Эльфрида была портнихой. Обычная женщина, если это слово вообще что-то значит. Не заговорщица, не политический вождь, не героиня плаката. Она сказала лишнее. В дик-

татуре лишнее – это всё, кроме молчания. Её арестовали, судили, казнили в Плётцензее шестнадцатого декабря 1943 года. Мне сообщили поздно. В таких вещах Германия никогда не спешила: мёртвые не требуют срочной доставки.

Он замолчал.

Потом развернул письмо и прочёл, уже вслух:

– «Если это когда-нибудь дойдёт до тебя, Эрих, не думай, что я была храброй. Я просто устала бояться. Страх тоже работа, а у меня всегда болели руки от работы».

Рике почувствовал, как у него похолодели пальцы.

– Она не могла отправить это письмо, – сказал Ремарк. – Значит, кто-то вынес. Или переписал. Или спрятал. Или придумал. Письма мёртвых требуют проверки, как живые политики.

– Вы думаете, оно может быть подделкой?

– Я думаю, что правда после войны ходит в чужой одежде.

Иногда её трудно узнать.

Он снова посмотрел на почерк.

– Но это похоже на неё.

Снаружи послышался шум машины. По дороге у виллы проехал автомобиль, фары скользнули по потолку кабинета и исчезли.

– Господин Рике, – сказал Ремарк, – вы останетесь в Локарно на несколько дней?

– Если нужно.

– Нужно – плохое слово. Оно испортило Европу. Скажем:

будет полезно. Я хочу понять, откуда взялось это письмо. И хочу, чтобы вы записали то, что я скажу. Не для радио. Не сейчас.

– Для чего?

Ремарк откинулся в кресле.

– Для того, кто однажды спросит, почему человек пишет о войне всю жизнь, хотя был на фронте всего несколько недель.

Он усмехнулся краем губ.

– И для того, кто думает, что несколько недель мало.

2

Оснабрюк в памяти Ремарка всегда пах влажным камнем, кожей и хлебом.

Города детства редко сохраняют реальные запахи; память пересаливает их, как бедная кухарка суп. Но Оснабрюк держался упорно. Его нельзя было заменить ни Берлином, ни Парижем, ни Нью-Йорком, ни Лос-Анджелесом, ни швейцарской тишиной у озера. Он оставался в глубине сознания – северный, провинциальный, католический, с колокольным звоном, школьными дворами, лавками, мастерскими, уличными разговорами, где каждая новость обрастала моралью быстрее, чем булка плесенью.

Отец, Петер Франц Remark, работал переплётчиком. Его руки пахли клеем и кожей. Он брал книги не так, как берут

их читатели; он ощупывал корешок, проверял блок, замечал трещины, слабые места, плохую прошивку. Для него книга была вещью, которую можно починить. Возможно, именно поэтому сын так рано почувствовал обратное: есть страницы, которые не чинятся.

Мать, Анна Мария, болела часто. В доме говорили тише, когда ей становилось хуже. Болезнь учит детей прислушиваться к паузам: они узнают по скрипу кровати, по шагам в соседней комнате, по тому, как взрослые закрывают дверь, что мир устроен ненадёжно.

Эрих в детстве не был похож на будущего обличителя войны. Будущие обличители вообще в детстве плохо различимы: они играют, скучают на уроках, тайком гордятся новым воротничком, мечтают о славе, не подозревая, что слава однажды придёт с запахом крови и типографской краски.

Он учился, читал, пробовал писать. В нём рано поселилось желание быть не только собой. Такое желание опасно: из него получаются актёры, преступники и писатели. Иногда – эмигранты.

В юности он увлекался музыкой, литературой, богемными разговорами, где бедность казалась временной, а талант – достаточным основанием для будущего. Германия начала века ещё любила порядок, но в молодых головах уже шумело электричество. Казалось, мир становится современным, а значит – разумным. Это заблуждение разделяли миллионы; потом оно обошлось им в миллионы жизней.

В 1916 году Эриха призвали в армию.

Военная форма сперва делает с юношей странное: она придаёт ему значение, которого у него ещё нет. Сукно, ремень, сапоги, строевые команды – всё это обещает причастность к чему-то большому. Мальчики охотно верят большим вещам, потому что сами ещё слишком малы перед страхом.

На фронт он попал летом 1917-го.

Позже читатели будут спрашивать: «Сколько он пробыл на передовой?» Так спрашивают люди, привыкшие измерять ад календарём. Несколько недель, отвечали биографы. Несколько недель – будто речь шла о неудачном отпуске.

Но война не нуждается в длительности, чтобы изменить человека. Иногда хватает одной ночи, одного разрыва, одного тела, которое ещё утром просило передать табак, а к вечеру стало частью грязи.

Окопы встретили его не героикой, а сыростью.

Грязь была повсюду: под ногтями, в хлебе, на письмах, в складках шинели. Она лезла в сон, в пищу, в мысли. Крысы двигались уверенно, как местные жители. Артиллерия работала с тупым усердием промышленности. Небо редко бывало высоким; чаще оно висело низко, задымлённое, равнодушное. Люди говорили о еде, сапогах, вшах, отпусках и смерти – не потому, что были грубы, а потому, что высокие слова слишком быстро становились непригодными, как промокшие спички.

Там, среди мальчишек, которых школьные учителя недав-

но учили любить родину, родилась не книга, а знание: родина может послать тебя умирать, а потом прислать открытку с орлом.

Тридцать первого июля осколки настигли его.

Взрыв не был литературным. Он не сопровождался ясной мыслью о судьбе поколения. Сначала был удар, потом грязь, потом странное удивление, что тело, которое считалось своим, вдруг стало набором мест, откуда течёт кровь. Ранение оказалось тяжёлым, но не смертельным. Это потом такая формулировка выглядит аккуратной. На месте она означает только одно: ты ещё не умер, но уже не уверен, что это твоя заслуга.

Госпиталь в Дуйсбурге был другой школой.

Там не кричали «ура». Там стонали, бредили, ждали перевязки, завидовали тем, кто спит, и боялись тех, кто перестанет просить воды. Медсёстры двигались с деловитой нежностью, которую война быстро превращает в профессиональную броню. Врачи говорили коротко. Письма пахли домом, но дом в них становился всё более неправдоподобным.

Эрих лежал среди людей, которые по частям возвращались из мясорубки. Кто-то потерял ногу, кто-то зрение, кто-то голос, кто-то способность смеяться. Он слушал их ночью. В темноте раненые часто говорили честнее, чем днём. Днём ещё держалась дисциплина, привычка к лицу, страх показаться слабым. Ночью каждый становился тем, чем был: сыном, женихом, должником, сапожником, студентом, испу-

ганным мальчиком.

Позже в «На Западном фронте без перемен» появится госпитальная правда — без украшений, без медной музыки, без сладкой отравы патриотической риторики. Но тогда это ещё не было литературой. Это было дыханием соседей по палате.

Когда война закончилась, Германия не стала мирной. Она только перестала стрелять на фронте и начала стрелять внутри себя.

Вернувшиеся солдаты обнаружили, что дома их ждали не лавры, а инфляция, безработица, политическая ярость, усталые женщины, раздражённые старики и мальчики помладше, которым ещё хотелось красивых легенд. Фронттовики мешали этим легендам одним своим видом. Они знали, как пахнет героизм после трёх дней дождя.

Ремарк пробовал жить.

Он учительствовал. Входил в класс, видел перед собой детские лица и понимал, что не знает, чему имеет право учить. Грамматике? Чистописанию? Послушанию? Мир только что доказал, что отлично образованные люди способны организовать бойню с безупречной документацией.

Он менял занятия. Работал в конторе, писал рекламные тексты, занимался журналистикой. В Веймарской Германии приходилось быть гибким. Деньги обесценивались так быстро, что кошелёк превращался в юмористический журнал. Люди получали зарплату и бежали покупать хлеб, пока цифры на банкнотах ещё не успели стать шуткой. На улицах стал-

кивались ветераны, коммунисты, монархисты, спекулянты, актрисы, инвалиды, сутенёры, студенты, пророки и мелкие чиновники с большими портфелями.

Берлин сиял и гнил одновременно.

Там танцевали, спорили, голодали, снимали фильмы, печатали журналы, заключали сделки, влюблялись на одну ночь и говорили о будущем так громко, словно боялись услышать прошлое. Кафе были полны дыма, газет, тонких чулок, дешёвого остроумия и дорогого отчаяния. Художники ругали буржуа, буржуа покупали художников, политики обещали порядок, а в подворотнях уже росли люди, для которых порядок означал сапог на чужом лице.

Ремарк наблюдал.

Наблюдение было его способом не сойти с ума. Он любил автомобили – их линии, скорость, обещание движения. Машина казалась честнее политики: если в ней что-то ломалось, это хотя бы можно было обнаружить под капотом. Он любил женщин – не как коллекционер, а как человек, которому в женском присутствии открывалась возможность временного перемирия с собой. Он любил хорошее вино, дорогие костюмы, разговоры, путешествия, потому что после окопов жизнь имела право на элегантность. Не на пошлую роскошь победителя, а на упрямое доказательство: грязь не получила последнего слова.

И всё же война сидела в нём.

Она не всегда приходила кошмарами. Иногда являлась

в обычных вещах: в звуке грузовика на мостовой, в запахе мокрой шерсти, в мальчишеском смехе, внезапно похожем на голос погибшего товарища. Память не любила торжественности. Она предпочитала нападать из-за угла.

Он писал.

Ранние книги не сделали его великим. Это полезно для писателя: слава, пришедшая не сразу, успеет застать дома хоть какой-то характер. Он пробовал разные интонации, сюжеты, формы. А потом взялся за книгу о солдатах, которым взрослые мужчины объяснили, что умереть молодым — почётно.

Работая над «На Западном фронте без перемен», он не сочинял обвинительный акт. Он писал проще и страшнее: как было. Без грома авторского суда. Без героя, который приносит перед смертью удобную фразу. Без утешительной симметрии.

Пауль Боймер и его товарищи не были «символами поколения» для самих себя. Они хотели есть, спать, выжить, получить отпуск, вспомнить девушек, не потерять сапоги, не оказаться в списке убитых. Именно поэтому они стали символами. Литература достигает общего через частное; пропаганда делает наоборот и потому пахнет мертвечиной уже при жизни.

Когда роман начали печатать в «Vossische Zeitung», Германия вздрогнула.

Одни читали и узнавали. Другие читали и ненавидели.

Третьи не читали, но уже знали, что книга вредная: самый удобный способ борьбы с литературой. Письма приходили мешками. Фронтовики благодарили. Националисты проклинали. Матери плакали. Школьные учителя возмущались, что кто-то снял с войны мундир и показал рубаху в крови.

В январе 1929 года книга вышла отдельным изданием.

Успех был ошеломительным. Ремарк стал знаменит так быстро, что у завистников не хватило времени подготовить приличные аргументы. Роман переводили, обсуждали, ругали, читали в поездах, в казармах, в университетах, в дешёвых комнатах, где бывшие солдаты жили среди запаха капусты и табака. Книга о поражении Германии стала мировым триумфом немецкого языка. Это особенно бесило тех, кто считал язык собственностью барабанщиков.

Потом пришёл фильм.

Льюис Майлстоун снял его в Америке. На экране война снова стала видимой – слишком видимой для тех, кто уже готовил новую. В немецких кинотеатрах нацисты срывали показы. Кричали, свистели, бросали вонючие бомбы, выпускали мышей. Мыши, вероятно, были единственными участниками акции, не имевшими политической программы.

Ремарк видел, как вокруг его книги сгущается ненависть.

Ему приписывали еврейское происхождение, хотя он им не обладал; врагам было всё равно. Им нужна была не истина, а мишень. Его называли предателем, клеветником, человеком, опорочившим немецкого солдата. Особенно громко

кричали те, кто любил солдата в единственном виде – безмолвным, послушным и желательно уже мёртвым.

В 1931 году Ремарк купил дом в Швейцарии, в Порто-Ронко. Это выглядело как отступление. На самом деле – как инстинкт выживания.

Через два года его книги горели на площадях.

3

В кабинете Ремарка ночь окончательно вступила в права.

Рике сидел напротив и почти не делал пометок. Он понял, что записывать каждую фразу невозможно: смысл возникал не только в словах, но и в паузах, в движении руки к сигарете, во взгляде на письмо, в короткой усмешке, которой Ремарк отгонял слишком близкую боль.

– Вы знали в 1933-м, чем всё закончится? – спросил он.

– Нет. Тот, кто говорит, что знал всё заранее, обычно лжёт из будущего. Я знал только, что будет плохо. Насколько плохо – воображение отказывалось работать. У воображения, как выяснилось, есть нравственные ограничения. У истории – нет.

– Почему вы не вернулись?

– Куда?

– В Германию.

Ремарк посмотрел на него внимательно.

– Вы очень хотите задать вопрос, который задавали мно-

гим эмигрантам. Почему не боролись там? Почему уехали? Почему спаслись? Почему не умерли вместе с теми, кто остался? Это вопрос не интервьюера. Это вопрос страны, которая предпочла бы, чтобы свидетелей было меньше.

Рике покраснел.

– Я не это имел в виду.

– Конечно. Но вопросы имеют биографию длиннее, чем намерения тех, кто их произносит.

Он налил себе немного вина из бутылки, оставшейся после ужина. Рике отказался.

– Когда книги горели, я был уже вне Германии. Потом лишение гражданства. Потом Америка. Нью-Йорк, Голливуд. В эмиграции человек становится коллекционером документов. Паспорт, виза, разрешение на работу, справка о благонадёжности. Бумаги доказывают, что ты существуешь, хотя родина уже заявила обратное.

– Америка приняла вас?

– Америка принимает талантливых иностранцев так же, как дорогой отель принимает постояльцев: с улыбкой, если карточка действительна. Но я не жалею. Там можно было жить. Писать. Зарабатывать. Быть вдали от людей, которые любили смерть с музыкальным сопровождением.

– И Голливуд?

Ремарк усмехнулся.

– Голливуд – это место, где трагедии сначала предлагают улучшить третий акт. Там я видел беженцев, которые вчера

спорили с министрами, а сегодня ждали звонка агента. Видел великих актёров, плохих писателей, хороших жуликов и женщин, способных войти в ресторан так, будто мир создан для освещения их плеч.

– Марлен Дитрих?

Имя прозвучало осторожно, но всё равно изменило воздух.

Ремарк положил сигарету в пепельницу.

– Марлен умела входить не только в ресторан. Она входила в жизнь человека с таким видом, будто уже знала расположение мебели.

– Вы познакомились в тридцатые?

– Да. В Венеции. Потом Париж, Америка, письма, ссоры, возвращения, исчезновения. С Марлен нельзя было иметь роман в обычном смысле. Это было скорее международное сообщение с перебоями, роскошными задержками и опасностью крушения.

Он улыбнулся – теперь почти тепло.

– Она была умна. Опасно умна. И щедра, когда хотела. Многие видели только её ноги, что, конечно, говорит скорее об их росте души, чем о ней. Она помогала эмигрантам, ненавидела нацистов, выступала перед солдатами союзников. У неё был голос, в котором кабаре пережило катастрофу и не попросило прощения.

– Она повлияла на ваши книги?

– На писателя влияет всё, особенно то, о чём он потом

врёт. В «Триумфальной арке» есть Париж эмигрантов, ожидание войны, любовь без гарантий. Есть женщина, в которой многие искали Марлен. Пусть ищут. Читатели любят ключи, потому что боятся дверей.

Рике всё-таки сделал пометку.

– А «Три товарища»?

– До Марлен. Там другая Германия. Конец двадцатых. Робби, Отто, Готтфрид. Автомобильная мастерская. Дружба людей, которые выжили, но не вполне вернулись. Любовь, болезнь, бедность, политическое насилие. В этой книге много Веймара – его ночей, его бензина, его музыки, его трещин.

– Вас часто обвиняли в сентиментальности.

– Разумеется. Если в книге есть любовь, критик, не умеющий любить, называет это сентиментальностью. Если есть смерть, критик, не умеющий умирать, называет это мелодрамой. Работа у них тяжёлая, не будем завидовать.

– Но ваши книги читают миллионы.

– Миллионы тоже могут ошибаться. Но иногда они узнают правду быстрее профессоров.

Он снова взял письмо Эльфриды.

– Здесь есть странное место.

– Какое?

– Она упоминает человека по имени Франц Вемайер. Судебный служащий. Вероятно, отец той женщины, которая передала вам конверт. Пишет, что он «смотрел не как они». Что это значит?

– Может быть, он помог вынести письмо.

– Может быть. Или хотел, чтобы через двадцать пять лет его дочь решила, будто помог. После войны многие обнаружили в себе запоздалое благородство. Оно удобно: не требует риска.

– Но письмо всё-таки сохранилось.

– Да.

Ремарк бережно сложил листы.

– Завтра вы поедете в Оснабрюк.

Рике поднял глаза.

– Я?

– Вы. Я стар для немецких вокзалов и слишком знаменит для незаметных вопросов. Найдите эту Вемайер. Узнайте, кем был её отец. Где он служил. Как письмо попало к нему. И почему она решила отдать его именно сейчас.

– А интервью?

– Оно уже началось. Просто вы ещё не знаете, о чём оно.

– Вы хотите, чтобы я вернулся?

– Непременно. Иначе у этой истории будет плохая композиция.

Рике вдруг почувствовал раздражение. Не сильное, но всё же осязаемое. Весь день он благоговел перед Ремарком, стеснялся каждого слова, боялся задеть. Теперь перед ним сидел не памятник литературе, а человек, который распоряжался им с изысканной бесцеремонностью богатого изгнанника.

– Господин Ремарк, – сказал он, – я журналист, а не част-

ный сыщик.

– Журналист – это частный сыщик, которому платят хуже и мешают чаще.

– У меня редакционное задание.

– Получите лучшее.

– Почему вы сами не напишете в Оснабрюк?

– Потому что письма в Германию имеют дурную привычку становиться официальными.

– Сейчас не сорок третий год.

– Для вас – нет.

Рике хотел возразить, но не нашёл слов. В этой короткой фразе было не упрямство старика, а опыт человека, для которого календарь давно перестал быть доказательством безопасности.

– Что именно мне искать?

Ремарк взял чистый лист и написал несколько строк. По черк у него был быстрый, уверенный, с резкими углами.

– Адрес женщины. Имя её отца. Место, где он мог работать. И ещё...

Он помедлил.

– Узнайте, сохранился ли дом, где жила Эльфрида. Или хотя бы улица.

– Вы ведь могли бы спросить это у кого-нибудь раньше.

– Мог. Но человек часто откладывает простые вопросы, потому что боится сложных ответов.

Он протянул лист Рике.

– Расходы я оплачу.

– Не нужно.

– Не изображайте независимость. Она дорого стоит. Я богат не настолько, чтобы покупать людей, но достаточно, чтобы оплачивать билеты.

Рике взял лист.

– Если письмо подлинное, что вы будете делать?

Ремарк посмотрел на конверт.

– Не знаю. Может быть, сожгу.

– Сожжёте?

– У вас испуганный вид библиотекаря. Не бойтесь. Я слишком хорошо знаю цену огню. Но иногда бумага принадлежит не архиву, а боли.

– А если это важно для истории?

– История и так получила от моей семьи достаточно.

Рике молчал.

– Впрочем, – добавил Ремарк, – я редко делаю то, что говорю в первый вечер. Это один из немногих признаков мудрости, которых мне удалось достичь.

Он поднялся, давая понять, что разговор окончен.

У двери Рике задержался.

– Господин Ремарк.

– Да?

– Вы правда считаете, что литература ничего не спасает?

Ремарк стоял у стола, в полутьме, рядом с письмом сестры и фотографией детей, на которой ещё никто не знал, что

будет двадцатый век.

– Нет, – сказал он после паузы. – Я считаю, что она спасает не тех и не вовремя. Но другого у нас нет.

4

В гостинице в Локарно Рике не спал.

Номер был чистый, узкий, с видом на тёмную улицу. В шкафу пахло лавандой и старым деревом. На тумбочке стоял телефон, похожий на чёрного молчаливого жука. За стеной кто-то кашлял. Внизу поздний портье листал газету.

Рике лежал, не раздеваясь, и смотрел в потолок.

Он думал о письме. О женщине, которая написала брату перед смертью: «Я просто устала бояться». О человеке, который спустя четверть века прочёл эти слова и пошутил о журналистах, потому что иначе, вероятно, пришлось бы кричать.

Он думал о собственном отце.

Отец редко говорил о войне. В семье знали, что он служил в железнодорожных частях, что был на Востоке, что вернулся в 1946-м худой, с больными лёгкими и привычкой чинить всё, что попадало под руку: стулья, замки, велосипеды, детские игрушки, собственное молчание. Когда Карл-Хайнцу было четырнадцать, он нашёл в ящике отцовского стола фотографию: молодые солдаты у вагона, смеются, один держит бутылку. На обороте – дата: 1942.

– Кто это? – спросил он тогда.

Отец забрал фотографию.

– Люди.

– Они живы?

– Некоторые.

– А остальные?

Отец посмотрел на него так, что мальчик понял: вопрос был задан не туда, не тем голосом и не в том возрасте.

Теперь Рике ехал к другому прошлому, чужому, но почему-то чувствовал, что оно неизбежно заденет его собственное. В Германии шестидесятых прошлое лежало под половицами каждой квартиры. Иногда оно скрипело ночью. Иногда его доставали на суде. Иногда – в письме без адреса.

Утром он позвонил в редакцию.

Начальник отдела культуры, доктор Бреннер, выслушал его с раздражением человека, которого оторвали от кофе ради реальности.

– Рике, вы в Швейцарии для интервью, а не для семейной хроники.

– Это связано с интервью.

– Всё на свете связано с интервью, если журналист не хочет возвращаться к сроку.

– Ремарк просит проверить происхождение письма.

– Ремарк просит?

Тон Бреннера изменился. Имя знаменитого писателя действовало на редакторов лучше любых аргументов.

– Да.

– Он даст запись?

– Возможно.

– «Возможно» – слово для поэтов. Мне нужен эфир.

– Если я не поеду, он может отказаться.

На другом конце провода послышалось сопение. Бреннер курил сигару и, по слухам, презирал всех писателей, кроме тех, кто уже умер и не мог сорвать график.

– Ладно. Два дня. Больше не дам. И, Рике...

– Да?

– Без глупостей. Нам не нужен скандал с частными документами.

– Понимаю.

– Не понимаете. Вы молоды. Молодые люди думают, что правда – это ключ. Иногда это граната.

Рике повесил трубку и долго смотрел на аппарат.

Потом собрал вещи.

Поезд на север шёл через Швейцарию, потом Германию. В окне менялись озёра, тоннели, аккуратные станции, поля, промышленные окраины. Чем ближе он подъезжал к родине, тем сильнее чувствовал странную перемену: пейзаж становился знакомым, но доверия не вызывал.

В вагоне-ресторане напротив него сидел толстый коммерсант с усиками и ел сосиску с таким видом, будто совершал патриотический обряд. Он заметил книгу на столе Рике – старое карманное издание «Im Westen nichts Neues».

– Ремарк? – сказал коммерсант.

– Да.

– В школе читали. Мрачный тип.

– Кто? Ремарк?

– Ну. Всё у него смерть, война, эмигранты. Немецкая литература должна быть... – Коммерсант поискал слово вилкой. – Покрепче.

– Крепче смерти?

Тот посмотрел недовольно.

– Молодой человек, я не это имел в виду. Просто надо же когда-нибудь перестать копать.

Рике закрыл книгу.

– Где?

– Что где?

– Где перестать копать? Если вы укажете точное место, страна будет благодарна.

Коммерсант фыркнул и занялся сосиской. Разговор умер без почестей.

Вечером следующего дня Рике прибыл в Оснабрюк.

Город встретил его дождём. Не сильным, но упорным, канцелярским. Такой дождь не падал, а оформлял присутствие влаги документально и без надежды на обжалование.

Вокзал был послевоенным, функциональным, лишённым всякой романтики. Германия восстановила многое, но восстановление редко возвращает душу зданию; иногда оно только учит стены снова стоять.

Рике снял комнату в небольшой гостинице недалеко от

центра. Хозяйка, женщина с лицом, на котором жизнь оставила аккуратные, но многочисленные пометки, записала его данные в журнал.

– По делам?

– Да. Журналистика.

– А-а.

Она произнесла это так, будто журналистика была разновидностью кожной болезни, не смертельной, но неприятной.

– Завтрак с семи. Горячая вода иногда бывает.

– Иногда?

– Молодой человек, у нас теперь демократия. Нельзя требовать слишком многого сразу.

Утром он отправился по адресу, который дал Ремарк.

Фрау Вемайер жила на тихой улице в доме с чистыми занавесками и горшками герани. Ей было за семьдесят, но двигалась она быстро. Лицо её казалось высохшим, глаза – неожиданно светлыми и жёсткими.

– Вы от господина Ремарка? – спросила она, едва Рике представился.

– Да.

– Он получил письмо?

– Да.

– Прочёл?

– Да.

Она кивнула, как будто отметила выполнение давнего поручения.

– Проходите.

Квартира была тесная, но безупречно прибранная. На стене висел портрет мужчины в форме времён кайзера. На комоде – фарфоровая собачка, семейная Библия, коробка с пуговицами. В комнате пахло мылом, кофе и старой бумагой.

– Ваш отец был судебным служащим? – спросил Рике.

– Был. До войны, во время, после. Маленький человек при больших мерзостях. Таких было много.

– Он работал в Берлине?

– Некоторое время. Его переводили. Он не любил говорить.

– О письме?

– Вообще. Молчание было его единственным повышением по службе.

Она поставила на стол кофе и сухое печенье.

– Я нашла конверт после его смерти. Это было в пятьдесят втором. Но тогда я не отправила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.